

"Писатель - одинокий путник, и никто ему не помощник"

К 70-летию Иосифа Бродского (1940 / 2010)

Говорить о Бродском сегодня необычайно трудно. Выросший из давно и закономерно сложившегося мифа о "последнем великом русском поэте" его громоздкий и навязчивый культ подменяет реальность судьбы и творческого дела Бродского, болезненно деформирует картину российской словесности конца XX века (все больше читателей склонны либо вовсе не замечать современников Бродского, либо видеть в них лишь статистов из массовой, оттеняющих великолепие словно бы единственного солиста) и печально сказывается на состоянии современной поэзии, провоцируя изрядную часть новых стихотворцев на сознательное или бессознательное подражание Бродскому.

Между тем Бродский никогда не мыслил себя ни "образцом для подражания", ни "последним", ни "единственным". Подобные дефиниции были просто мелки для поэта, непрестанно и яростно развивавшего один - в любых вариациях узнаваемый - обжигающе черный сюжет. Всю жизнь он писал об одиночестве, неутолимости страсти и обреченности. Отнюдь не только своей - каждого.

Счастье любви или творчества обманно, ибо конечны. Географическая и историческая пестрота бытия, для воссоздания которой мобилируется все грандиозное богатство русской лексики, метрики, интонации, весь предметный арсенал "мировой культуры", в конечном итоге окрашивается одним цветом, который лишь кажется то черным, то белым, то синим, то красным. Нет ему имени, как нет противоядия от одиночества.

Бродский не отвергает этого состоящего из одной лишь несправедливости безнадежного бытия. Оно данность, а данность должно принимать. Ибо тоска и ужас неотделимы

от всполохов счастья, неведомо откуда взявшихся, но позволяющих вы-

"прозрачному" отчету о недолгом единении двух одиночеств в запредель-

ши ребра и хребты / ихней ломаной кривой. // Чем объятие плотней, / тем пространства сзади - гор, / склонов, складок, простыней - / больше, времени в укор <...> Это - край земли. Конец / геологии; предел. / Место точно под венец / в воздух вытолкнутых тел. // В этом смысле мы - чета, / в вышних слаженный союз. / Ниже - явно ни черта. / Я взглянуть туда боюсь. // Крепче в локоть мне вцепись, / побеждая страстью власть / тяготенья - шанса, ввысь / заглядевшись, вниз упасть <...> То не ангел пролетел, / прошептавши: "виноват". / То не бдение двух тел. / То две лампы в тыщу ватт // ночью, мира на краю, / раскаляясь добела - / жизнь моя на жизнь твою / насмотреться не могла. // Сохрани на черный день, / каждой свойственный судьбе, / этих мыслей дребедень / обо мне и о себе. // Вычесть временное из / постоянного нельзя, / как обвалом вверх и низ / перепутать не грозя.



Инна Разумова. "Портрет Иосифа Б." (по мотивам фотографии Марты Пирсон)

носить невыносимое. Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. / Только с горем я чувствую солидарность. / Но пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность.

Так со злосчастной любовью, что всего отчетливее видно даже не по великому множеству стихотворений, в посвящениях, в которых стоят роковые литеры М Б., но по пронзительному и

ности гор. Голубой саксонский лес. / Снега битого фарфор. / Мир бесцветен, мир белес, / точно извести раствор. // Ты, в коричневом пальто, / я, исчадь распродаж. / Ты - никто, и я - никто. / Вместе мы - почти пейзаж <...> Мы с тобой - никто, ничто. / Эти горы - наших фраз / эхо, выросшее в сто, / двести, триста тысяч раз. // Снизив речь до хрипоты, / Уподобить не впервой / на-

вованья. / Листай меня поэтому - пока / не грянет текст полуночного гимна. / Ты - все или никто, и языка / безадресная искренность взаимна.

Так и во всем прочем. С той же предельной безадресной искренностью. С тем же упрямым упованием стать "частью речи". И не спрашивайте: зачем?

Андрей Немзер. 24.V.2010

"Я, в лучшем случае, путешественник, жертва географии. Не истории, заметьте себе, географии. Это то, что роднит меня до сих пор с державой, в которой мне выпало родиться, с нашим печально, дорогие друзья, знаменитым Третьим Римом". Иосиф Бродский

Специальное приложение к июньскому номеру газеты "Новая жизнь" посвящено 70-летию со дня рождения Иосифа Бродского.

Составление и подготовка к печати Андрея Устинова. Редакция Светланы Кристалль и Андрея Устинова. Produced by Kritzer/Ross Emigre Program, JCCSF.

Copyright © Авторы, 2010. Copyright © by Andrey Ustinov, 2010.

Воспроизведение оригинальных текстов, переводов и иллюстраций в других изданиях разрешается только со ссылкой на составителя и настоящее издание.

Dedicated to the 70th Anniversary of the Birth of Joseph Brodsky (1940 / 2010). The great Russian Jewish poet and Nobel Prize laureate, Joseph Brodsky, was born in Leningrad in 1940 and died in Brooklyn in 1996. Eight pages of this month's New Life are devoted to this poet and his magnificent poetry. Andrei Ustinov envisioned this project and collected the essays and commentaries. This introduction is by Andrei Nemzer. Andrei Ustinov and Svetlana Kristal edited this insert. It was printed with the contributing writers' permission. The portrait is by Inna Razumova, from a photo by Marta Pierson.

Габриэль Суперфин

Про Бродского, если получится



Габриэль Гаврилович Суперфин - известный правозащитник, филолог, архивист, источниковед, первый издатель И.А. Бродского. В СССР был осужден, отбывал тюремный срок и ссылку. В 1983 г. был вынужден выехать в Германию. Воспоминания написаны специально для этого приложения.

Знакомство в Тарту году в 1967 или 1968. На кафедре? Мы были уже заочно как бы лично знакомы: Наталья Горбаневская, Татьяна Максимовна Литвинова и ее семья и др. Бродский позвал пить пиво в подвальчик близ университета, но я отговорился срочной работой (готовил "Материалы студенческой конференции"). Значит, все-таки февраль-март 1968 года.

Потом я был у него в Питере, ле-

том 1969 года. Я несколько месяцев тогда провел в Ленинграде, и в Питер ко мне приехал мой друг Гриша Фрейдин. Он и повел меня к Иосифу, с которым познакомился в Москве то ли у Литвиновых, то ли у какой-то англичанки, аспирантки или что-то в этом роде. Помню только что Иосиф водил меня по своим питерским местам - суд и прочее близ его дома.

В самом конце 1969 года вышел номер Русской страницы газеты Тартуского университета с публикацией (с опечатками) стихотворения "Подсвечник" (*Сатур, покинув бронзовый ручей, / сжимает канделябр на шесть свечей*) - по самиздатовской перепечатке. По этическому тогдашнему хамству у автора я разрешения не испросил. На какой-то последующей встрече в Москве я передал Иосифу экземпляр или даже экземпляры публикации (или послал эти экземпляры еще из Тарту?). На каком-то одном экземпляре он написал мне: "Моему первому издателю", но на опечатки не среагировал. Это было в Москве. Перед эмиграцией в 1983 г. я кому-то отдал эту газетку <ныне хранится в собрании Э.Л. Безносова - *Ред.*>

Было еще несколько встреч в Москве на протяжении 1970-72 (?) гг. у моей приятельницы, которая с Иоси-

фом дружила. Меня он тогда называл "ньюлефт", "ньюлефтист". Видимо, ему кто-то сказал что я занимаюсь Хроникой <"Хроника текущих событий". - *Ред.*> и прочими "подпольными" делами. Я возражал, мол, я не "лефт", но Иосиф упорно и насмешливо продолжал меня именовать "ньюлефтистом".

Однажды я пришел в тот дом с книгой Е.Н. Трубецкого "Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке" о блаженном Августине. Иосиф перелистал ее и сказал, что сам он "доевангелской культуры". (Вспомнил по случаю: Бродский говорил, что иностранцев просит привозить "Байбл и джинз".)

Еще смешной эпизод: обсуждался один общий приятель. В связи с ним, Иосиф сказал, что гомосексуалисты не могут свистеть и предложил бывшим здесь на кухне посвистеть. Никто вдруг не смог.

Один раз он приехал наголо постриженным - только что вернулся из Крыма, с пробных съемок по сценарию (?) Е. Евтушенко. Тогда Иосиф сильно защищал Евтушенко, который ему пытался помогать.

Запомнил - на той же кухне, на Бутырском валу - как проходил злобный спор двух соперников: Иосифа и Вадима Козового о месте Марины Цветаевой в русской поэзии.

Мастером спора в этот раз, оказался Бродский, отстаивавший Цветаеву как гениального поэта. Аргументов ни той ни другой стороны я, увы, не запомнил.

Последний эпизод, связанный с Иосифом в СССР, относится к маю 1972 года: во время визита в Москву президента Ричарда Никсона и накануне отъезда Иосифа за рубеж та же моя приятельница прямо на улице - в переулке возле Центрального телеграфа - передала сверток с микрофильмами, на которых были перефотографированные рукописи Бродского, американскому корреспонденту (фамилия его, кажется, Шоу), одному из сопровождавших президента. А я стоял рядом - типа на атаке - поджилки дрожали...

About Brodsky, If It Turns Out. By Gabriel Superfin. Gabriel Superfin is a human rights activist, former Soviet dissident, linguist, archivist and first publisher of Joseph Brodsky, in a student newspaper. He lives in Germany. These personal memories of Brodsky were written especially for this issue of New Life. He met Brodsky for the first time in 1967 in Tartu, Estonia and then again in St. Petersburg in 1969. In 1972, he helped to transmit microfilm of Brodsky's poetry to an American newspaper correspondent who was covering President Nixon's trip to the Soviet Union.

Бродский и кинематограф или бритый секретарь горкома

Мы вышли все на свет из кинозала... И.Б.

Фрагмент воспоминаний Г.Г. Суперфина о киносъемках Бродского, а именно: "Один раз он приехал наголо постриженным - только что вернулся из Крыма, с пробных съемок по сценарию (?) Е. Евтушенко", - требует исторических пояснений. Тем более, что тема "Бродский и кинематограф" до сих пор не нашла своего кропотливого исследователя, хотя кто только не цитировал строчки из "Двадцати сонетов к Марии Стюарт". Их помнит наизусть любой, кто хоть раз побывал на киносеансе в канувшем в лету кинотеатре "Спартак" на улице Салтыкова-Щедрина в б. Ленинграде:

В конце большой войны не на живот, когда что было, жарили без сала, Мари, я видел мальчишкой, как Сара Леандр шла топ-топ на эшафот. Меч палача, как ты бы не сказала, приравнивает к полу небосвод (см. светило, вставшее из вод). Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад, в "Спартак",

в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе...

Уже в Америке Бродский стал героем документального фильма "Пространство, сводящее с ума" ("A Maddening Space". New York Center for Visual History-Mystic Fire Videos, 1990; 57 мин.; Продюсер: Лоренс Питкетли) и даже клипа, сделанного на его стихотворение "Песенка" ("A Song"). Однако в отличие от своего близкого друга Александра Году-

нова, обернувшегося в эмиграции актером, Бродский никакого касательства к художественному кино не имел, заметив однажды, что ему "довелось сыграть только одну роль - самого себя"... И еще - секретаря горкома на Одесской киностудии.

Этот сюжет не ускользнул от внимания краеведа, журналиста, знатока Одессы и вице-президента Всемирного клуба одесситов Евгения Михайловича Голубовского, который собрал воспоминания о киносъемках:

В один из вечеров позвонил к нам домой Леонид Мак. Тогда работник киностудии, по главному самоощущению - поэт, он был заметной фигурой в одесской богеме 60-70-х. С загадочным придыханием Мак сказал, что в Одессе Иосиф Бродский, живет у художника <Людсика (Льва) - *Ред.*> Межберга, а вечером будет у художника Алеши Стрельникова, где прочтет новые стихи. И он, Мак, зовет меня и мою жену... <...>

Вошел высокий, крупный парень. Не рыжий, как представлялось, а... наголо бритый. Он был чем-то расстроен. Все пили кофе, сухое вино. Бродский тоже попросил чашку кофе, но сидел в углу, в общении практически не вступал и стихи не читал. По односложности его ответов стало ясно: просить его нет смысла. Кто-то из устроителей вечера тихо объяснил: у Иосифа неприятности. Он совершенно без денег, должен был сыграть роль Гуревича, первого секретаря горкома партии, - это тогда показалось смешным, хоть сразу же объясняло его бритость, - но съем-

ки прерваны, кто-то "настучал", что это... тот самый Бродский. Прошли годы. Я попытался узнать, что это был за фильм, но никто не помнил. А недавно я попросил сотрудника архива Г. Малинову, которая изучала материалы о пребывании на киностудии Булата Окуджавы, поискать документы о фильме про оборону Одессы, снимавшемся в 1970 г.

Сценарий для фильма написал поэт Григорий Поженян. Он несколько раз переделывал его и менял названия: "Утрата", "Оборона" и, наконец, "Поезд в далекий август". Под таким названием этот полнометражный черно-белый, широкоэкранный художественный фильм был закончен в декабре 1971 г. и вышел на союзный и республиканский экран. Режиссер-постановщик В. Лысенко, оператор Л. Бурлака, директор картины В. Буршеван, - сообщила мне архивист.

Режиссер В. Костроменко - сужу по документам - выражал неудовольствие игрой актеров: все выглядели одинаково торжественно угрюмыми и задумчивыми. Приятным исключением было: "Запоминается один странный человек, который играет Гуревича, дергающийся немного. Но это живой человек". <...> Через режиссера Валентина Казачкова, затем через сына режиссера нахожу Вадима Лысенко. Конечно же, и он, узнав о смерти Иосифа Бродского, вспомнил тотчас 1970 г.

- Нет, не Гриша Поженян познакомил меня с Иосифом Бродским, Поженян хотел его увидеть, но они в

Одессе разминулись, а познакомил меня Леня Мак. Он был одно время вторым режиссером, ассистентом, с ним мы ездили в Ленинград искать по театрам актеров для фильма. И вот, разглядывая как-то раз фотографию Гуревича, Мак сказал: "Он фантастически похож на Иосифа Бродского. Я вас познакомлю". И через несколько дней привел поэта. Была зима, было очень холодно, я обратил внимание, что Бродский в плаще; денег, как я понял, у него не было. Из ссылки его выпустили, но печатать не печатали. И роль в кино могла подержать его. И все же Бродский прежде всего попросил сценарий. Прочитал роль и согласился. Думаю, его удовлетворило главное: она как бы фоновая и неидеологизированная.

Шел 1970 год. Формально антисемитизм коммунистами был осужден, но подспудно жил. Естественно, ни один первый секретарь горкома не мог быть евреем. Но даже рассказывая о секретаре 1941 года, а он, как считали, был душой обороны Одессы, нужно было свести его роль к беседе с детьми в школе, к отсиживанию на военных советах... Однако именно такой Гуревич устраивал Иосифа Бродского.

- Когда мы вызвали Иосифа в Одессу, - продолжает Лысенко, - я договорился с Маком: никому ни слова, кто это, Бродский - фамилия распространенная. А если меня спрашивали, я отвечал, что он учится на актерском факультете. Пробы прошли отлично. Затем - съем-



Бенгт Янгфельдт

Бенгт Янгфельдт - специалист по русской литературе XX века, исследователь, переводчик. Перевел на шведский язык шесть книг прозы и поэзии Иосифа Бродского. Живет в Стокгольме.

В Швецию Бродский попал в первый раз летом 1974 года, когда провел неделю здесь по частным делам. В следующий раз он приехал в марте 1978 года по приглашению Упсальского и Стокгольмского университетов, а в 1987 году он посетил Стокгольм, чтобы получить Нобелевскую премию по литературе.

После этого Бродский приезжал в Швецию каждый год до 1994-го включительно. Чаще всего - летом, чтобы отдохнуть и работать, но и в другие времена года, в связи с конференциями, выступлениями и прочими делами. Ниже публикуется несколько заметок, связанных с пребыванием Бродского в краю, который он сам называл своей "экологической нишей".

Ö

Бродский был крайне чуток к семантическим и фонетическим нюансам слов. Один пример: мы сидим в ресторане Гранд-Отеля в Стокгольме. Я заказал себе пиво, но ни пива ни официанта долго не видно. "Где же мое пиво?", - говорю я раздражен-

но. "Замечательно! Мое пиво. Так бы русский никогда не говорил". Русское ухо Иосифа поразило естественное чувство собственности в формулировке "мое пиво", показавшееся ему исключительно западным.

Эта чувствительность, в сочетании с редким чувством юмора и остроумием, заставили его работающий всегда вовсю мозг производить шутки и словосочетания как на конвейере, и на бумаге и устно, и в легких жанрах (как, например, стихи на случай) и в серьезном творчестве. "Айне кляйне нахт музик" превращается в "Двадцати сонетах к Марии Стюарт" в "айне кляйне нахт мужик"; Миша Барышников стал Мышью и фамилия Греты Гарбо была искажена в менее лестное Garbage; "jetlag" стал "жид, ляг"; надзор КГБ над советскими гражданами был определен максимальной "На каждого мосье - свое досье" - жизнь, "вита", в конце концов, была не "дольче", а "больче"; манускрипт был "анускрипт"; "интервью" - "интервру". Когда я сообщил Бродскому новость о том, что Джорж Буш старший выбрал своим кандидатом в вице-президенты Дэна Куейла, он реагировал молниеносно: "Хорошая комбинация: Bush (куст) - quail (перепелка)!" И так далее, включая многое, что не подходит для печати.

Даже на языках, которыми Ио-

Заметки об Иосифе Бродском

сиф не владел, или владел хуже чем русским и английским, он чутко ловил фонетический и семантический потенциал. Словосочетание "polizia stradale", итальянская дорожная полиция, вызвало у него сразу мрачные ассоциации, не только из-за слова "полиция", но из-за близости прилагательного "страдале" с русским глаголом, отражающим результаты стараний людей этой профессии. Более легкомысленную ассоциацию вызвал другой итальянский дорожный знак, "Curve pericolose", опасные повороты.

Шведского Иосиф совсем не знал. Однажды, когда мы подъезжали к бензоколонке, он воскликнул: "Что там было написано? Что там написано?" Увидев знак "Infart" (въезд), он прочитал

другое слово, более естественное для сердечника. Шведское слово, особенно возбуждавшее его фантазию, было "ö" - существительное из одной буквы, изображающее то, что оно означало (остров), окруженное, к тому же, двумя маленькими северными островками. Архипелаг в одной букве!

Нобелевская лекция русского поэта

В 1989 году Consorzio Venezia Nuova поручило Бродскому написать книгу о Венеции. Он взялся за работу с восторгом, и, не будь строгие сроки для сдачи рукописи, книга была бы, согласно ему самому, намного толще, чем она получилась: 130 с лишком страниц с редким шрифтом.

Окончание на стр. L

"I was so pleased to find J. B. such a nice person. Good poets aren't always." ("Я был счастлив обнаружить в И.Б. милого человека. Хорошие поэты такими оказываются не всегда").

Из письма У.Х. Одена Карлу Профферу от 12 июня 1972 г. (из собрания Ирвина Т. Хольцмана (Irwin T. Holtzman Collection); Архив Гуверовского института, Стэнфорд).

ки. И мы уже практически отсняли все эпизоды с его участием, как вдруг звонок из Киева: немедленно с материалами картины в Госкино! Потребовали - в самой категорической форме переснять весь материал, где снят Бродский. Я возражал, сопротивлялся - бесполезно. Даже пошел в ЦК, но ответ был однозначен: переснять или закрыть фильм.

Рассказывает главный оператор фильма Леонид Бурлака.

- Начальники в высоких кабинетах не понимали, что переснять уже практически невозможно. Разобранные декорации, разбежались люди. И мы с Вадимом тайно для всех решили, что я пересниму лишь крупные планы. Нашли актера, который был похож на Бродского, Тартышников. Его сейчас зритель видит, когда показывают крупные планы, а на части средних и всех общих - так и остался Иосиф Бродский. Хоть тогдашнее начальство этого и не знало...

Фильм вышел на экраны в 1972-м. В том же году Иосиф Бродский под угрозой вторичного заключения был выслан из СССР. В фильме нигде, естественно, не упомянуто его фамилия.

<...> Казалось бы, всего один эпизод - и в жизни поэта, и в жизни Одесской киностудии. Но в нем сфокусировано то время - с гениальными стихами и тривиальными доносами, с выбором - уехать или остаться, а нередко и с отсутствием такого выбора...

Приводится по тексту из собрания Галины Славской (Архив Гуверовского института, Стэнфорд).

"Поезд в далекий август" (рабочее название: "Оборона Одессы") - по жанровому определению "героическая драма" - был смонтирован на Одесской киносту-

дии в 1971 г. (10 частей, 2751 метров, 100 мин.). В фильме были заняты популярные тогда Николай Скоробогатов и Константин Степанков и еще не слишком известные Армен Джигарханян, Петр Щербаков и Виктор Павлов. Ни Бродский, ни Тартышников в титрах не упоминаются. По предложению Всемирного клуба одеситов топонимическая комиссия Одесского горисполкома согласилась с требованием горожан установить на здании киностудии мемориальную доску в память Бродского, правда, за деньги клуба, так как у города на это денег нет.

А в поэтической биографии Бродского эпизод с бритым секретарем горкома отложился в дружеском панегирике "Мои любезные друзья! / Я Вашим восхищен жилищем!", обращенном к Рамунасу Катилюсу и Эле Катилене. Набитое на машинке, стихотворение заканчивалась рукописной припиской: "Лечу в Одессу, потом в Москву. Вернусь, думаю 5-10 мая", - которая была перечеркнута. Вместо нее Бродский дописал следующее двустишие:

Судьба явила милость:
Одесса отменилась.

Как поясняет Рамунас Катилюс: Это стихотворное послание датировано 28 апреля 1970 года. Мы нашли его на кухонном столе в нашей ленинградской квартире на пр. Энгельса, вернувшись из очередной поездки в Вильнюс (уезжая, мы обычно оставляли квартиру в распоряжение Иосифа).

Смысл записей под текстом стихотворения таков: ленинградский обком и московские литературные власти состояли в заговоре - не позволять Бродскому зарабатывать на жизнь даже переводами. Друзья создали Иосифу возможность попробовать себя в кино - на Одесской киностудии ему дали маленькую роль. Иосиф обладал определенным актерским дарованием, и с ролью (сек-

ретаря подпольного - во время войны - райкома Гуревича) справился. Студия уже готовила ему роль в следующем фильме, но про это узнали в ленинградском обкоме. Получив соответствующую депешу из Ленинграда, одесский обком "нажал" на киностудию, и кадры с участием Бродского пришлось вырезать. Тем более не могло идти речи о роли в следующем фильме. Ехать в Одессу Иосифу уже было незачем, и он отшутился ироничным двустишием.

В домашнем архиве семьи Катилюс сохранилось, видимо, единственное изображение Иосифа Бродского в роли секретаря горкома, и он, действительно, брит наголо. Вот эта фотография, которая воспроизводится здесь благодаря щедрости Рамунаса Катилюса и Эли Катилене, которые с сочувствием отнеслись к изданию этого приложения к газете "Новая жизнь".

Фотография публикуется впервые. Из домашнего архива Рамунаса Катилюса и Эли Катилене (Ramuno ir Eles Katiliu archyvo; Vilnius, Lietuva).

Brodsky and the Cinema or the Secretary of the City Committee of the Communist Party with the Shaved Head. From material by Andrei Ustinov. A little known episode from Brodsky's life when he was invited to play a role in a film being made in Odessa in which he played the Communist party secretary with the shaved head. A photo of that time is found to the right of the article. This is the first time that this photo has been published, since it is from a private archive (Ramuno ir Eles Katiliu archyvo; Vilnius, Lietuva).



"В течение своей жизни старайся имитировать время. Не повышай голоса, не выходи из себя. Ежели, впрочем, тебе не удастся исполнить это предписание, это требование, не огорчайся, потому что, когда ты ляжешь в землю и замолчишь, ты будешь напоминать собой время". И.Б.

Иосиф Бродский похоронен на кладбище Сан-Микеле - "острове мертвых" в Венецианской лагуне; там же, где покоятся "гражданин Перми" Сергей Дягилев и Игорь Стравинский.

San Michele

Щель, как двуликий Янус, оперлась о лодку, что прибой однажды вынес на пристань. Так и возникает связь меж куполом, зрачком, белесой высью. Стучит мотор среди белесых вод, и глину борт изъеденный бодает. Среди слепящих стен в июне - под прозрачным солнцем - Орк нас поджидает. Трава и камни. Тот же остров. Вот спешит расслышать странник, камня, как над кустами тишина плывёт, как сфере глухо вторят сферы неба, как режет воду клин известняка, куда мозг, оцепенением полный, уже не боль пробудит, но пока - не пароход, не дерево, не волны.

1997

Томас Венцлова
Перевод Виктора Куллэ

Томас Венцлова - литовский поэт и филолог, друг Иосифа Бродского, адресат и переводчик его стихов, ныне профессор Йельского университета.

С материнской стороны род Бродского был связан с Литвой. Я слышал об этом и от него самого, и от его матери Марии Моисеевны. Они упоминали два местечка - Байсогалу и Рокишкис. В Байсогале, неподалеку от Шауляя, по их словам родилась бабушка Иосифа, мать Марии Моисеевны, и долго жила тетя, которая, кстати, знала литовский язык; в Рокишкисе родился дед. Я как-то спросил у Иосифа, повлияло ли это на его отношение к Литве. "Ни в малейшей степени", - ответил он. - Мое отношение к Литве - прежде всего отношение к моим литовским друзьям". Что ни говори, Литва сыграла в его жизни - во всяком случае, до эмиграции - примерно ту же роль, что Грузия в жизни Пастернака или Армения в жизни Мандельштама. Я даже не говорю о стихах: Литве их посвящено немало, и каждый, кто читает Бродского, их знает. Как и его предшественникам - тут можно вспомнить и Пушкина, и Лермонтова - Бродскому было важно просто пожить на окраине империи, где нравы и сам воздух все же несколько иные.

Он впервые приехал в Вильнюс в конце августа 1966 года, вскоре после возвращения из ссылки. Дела его складывались далеко не лучшим образом, и московский друг, поэт и переводчик Андрей Сергеев, предложил отдохнуть от тревожений в Литве, где сам успел завести близких друзей. Бродский остался в квартире Катилиусов, у двух братьев - Рамунаса и Аудрониаса. Первый - физик, второй (младший) - архитектор. Имена их, кстати, более или менее соответствовали характерам: Рамунас означает "спокойный", Аудронис - "бурный". Оба отлично разбирались в литературе - Рамунас мог стать филологом, но пошел на физический факультет, ибо советское литературоведение его как-то не вдохновляло. Имя Бродского братьям было знакомо. <...> У нас была своя компания <...> В этой компании Бродский и оказался, и большинство этих людей считал близкими себе всю жизнь. <...>

Но я, собственно, пишу не воспоминания. Мне скорее хочется подумать, чем Вильнюс и Литва привлекали Бродского.

Томас Венцлова

Бродский, Вильнюс, Литва

Уже тогда мы все понимали, что Вильнюс - единственный в своем роде город, и с гордостью водили по нему приезжих. Лучшей помощью в этом была довоенная книга Николая Воробьева "Искусство Вильнюса", написанная по образцу муратовских "Образов Италии" и, пожалуй, им не уступающая. (Николай Воробьев, или Микалоюс Воробьевас, учился в Германии, где слушал лекции Хайдеггера и прочих; писал он по-литовски, в 1944 году эмигрировал, оказался в Америке, не нашел в ней применения своим способностям и покончил с собой. По удивительному совпадению, дочь его Маша жила в Гринич-Вилледж, в том же доме, где много лет прожил эмигрировавший Бродский, и стала одним из его близких друзей). Так что и Иосифу мы старались показывать вильнюсские костелы и переулки "по Воробьеву", рассуждая о готических арках и барочных волютах в искусствоведческом духе. Но это его сравнительно мало интересовало: туристом, изучающим "памятники прошлого", он себя никогда не ощущал. Как он сказал однажды, у него не было комплекса зевачи: он любил не глазеть по сторонам, а выбрать себе близкое место, будь то Рим, Венеция или что-либо другое, и в нем осесть. Из таких мест - до эмиграции - Вильнюс для него был, пожалуй, важнейшим. <...>

Бродский был западником - хотя, как любая попытка подвести его под общий знаменатель, это упрощение, - и Литва для него, как для большинства тогдашних русских интеллигентов, была вкраплением Запада в Советский Союз. "Литва для русского - это всегда шаг в правильном направлении", - он любил говорить. "В Вильнюс я въезжал с востока. И когда впервые оказался в Вене, ее холмы для меня совпали с вильнюсскими".

Я как-то уже говорил, что он всерьез любил три места на земном шаре - Италию, Польшу и Литву (любил и Россию, и Америку, но тут отношение было сложнее). При этом Польша для него была, так сказать, паллиативом Италии, а Литва паллиативом Польши - и тем самым Италии. В Вильнюсе

было то же католичество и то же барокко, что в Риме. Был явный оттенок юга, особенно если сравнивать Вильнюс с Ригой и Таллинном. <...>

Вильнюс вообще похож на любимые Бродским итальянские города. Как Венеция (а впрочем, и Петербург) он находится на стыке Востока и Запада. По величине похож на ту же Венецию и на Флоренцию. "Плотность искусства на квадратный сантиметр", по формуле Бродского - конечно, не та же, но в какой-то степени приближается к тамошним образцам. <...>

Дело не только в итальянских подтекстах Вильнюса. Его текст не сводится к какой бы то ни было одной линии. Этот текст создает и единственное в своем роде средневековье - которое Бродский часто, иногда с юмором вспоминает в стихах, - и поразительное разнообразие построек, отнюдь не только барочных, и великолепии университета, и традиции "волнений Литвы" (в этом страна была сходна не столько с Италией, сколько с Ирландией). Бродского занимала борьба за право писать латиницей, сформировавшая современный литовский народ - о ней мы ему немало рассказывали, и отсылки к ней легко заметить в "Литовском ноктурне". Ему была интересна межвоенная литовская независимость - следы которой сохранились скорее не в Вильнюсе, а в Каунасе - и тем более восхищала упорная война "лесных братьев" со сталинским режимом. Переулки гетто говорили и о еврейской жизни города, и о ее уничтожении - эту тему Бродский не педантировал, но в его сознании и подсознании она всегда была. <...>

Вильнюс, да и вся Литва хранили память о нормальном миропорядке, которая уже выветрилась в большинстве местностей Советского Союза. Эта память присутствовала и в Петербурге - по крайней мере, в его архитектуре, а также в том кругу старых петербуржцев, которых нам еще посчастливилось застать. Но мне кажется, что Вильнюс привлекал Бродского и своим резким контрастом с Петербургом. В Питере господ-

ствовала горизонталь, здесь - вертикаль; там были бесконечные перспективы, здесь - кривизна и многомерность; там - вода и воздух, здесь - земля холмов и обрывов, огонь кирпичных костелов. Там - восемнадцатый и девятнадцатый век, здесь - более ранний пласт: шестнадцатый, семнадцатый, порой и предшествующие времена. Там - столица империи, здесь - провинция (впрочем, у Литвы была своя имперская эпоха, но давно прошедшая и в отличие от русской имперской эпохи не пахнущая угрозой). Было и то, что оба города объединяло: традиция тайной свободы - Пушкина и Мицкевича, - и то, что Бродский называл "традицией творческих всплесков". <...>

В дни, когда Литва совсем уже "выпала из системы" - то ли в 1990, то ли в 1991 году, - я предложил ему съездить в Вильнюс и повидаться с тамошними друзьями (хотя и знал, что в Питер он не собирается). Мы рассматривали два варианта: поездка с литературными вечерами, на которые, естественно, приехали бы также люди из России (тогда виза еще не требовалась), и поездка инкогнито, в том же духе, что четверть века назад. Первый вариант был отвергнут, но второй обдумывался всерьез. Увы, не состоялся и он. Состоялись только стихи, в которых Иосиф, по своему собственному выражению, отплатил Вильнюсу и Литве искусством за искусство.

Brodsky, Vilnius, Lithuania. By Tomas Venclova. Tomas Venclova is a Lithuanian poet, a former dissident who was deprived of his Soviet citizenship and immigrated to the United States in 1977. He is currently a professor at Yale University in the Department of Slavic Languages. He was a close friend of Joseph Brodsky. He writes about how Lithuania, but especially Vilnius, was important to Brodsky in his life and poetry. Brodsky claimed that his favorite countries were Lithuania, Poland and Italy. His feelings about Russia and the United States were more complicated. Vilnius, because of its architecture and its hilly location, reminded him of his beloved Italian towns. In general, Lithuania was for the Russian intelligentsia in the 60's and 70's, by virtue of its location, architecture and culture, a symbol of the West within the Soviet Union.

Рамунас Катилиус

Рамунас Катилиус - физик, близкий друг Иосифа Бродского.

Начитавшись стихов Бродского, я представлял его почти Байроном. А из такси вышел обыкновенный молодой человек в кепке. Немного рыжеватый, как после оказалось, начинающий лысеть, чего он очень смутился. Но как только Бродский пожал мне руку, я почувствовал, что он один из нас.

<...> Мы говорили обо всем совершенно свободно. Издевались над советской властью. Иосиф это делал очень остроумно. Он часто читал нам стихи. Вопреки устоявшемуся мнению, в них не было политики. Только один раз, после событий в Чехословакии, он начал откровенно политический стих. Но события так поменялись, что он его не закончил. Очень важно понять, что несмотря на страдания, которые ему причиняла советская власть, он не стал обзленным. И тем более, не нужно считать Бродского диссидентом. Это слово носит политическую окраску. А он был сам по себе, и прежде всего был поэтом. Чтобы

В Вильнюсе с Бродским

он пил, я этого не помню. <...>

Но зато Бродский злоупотреблял очень крепким кофе и много курил. У сигарет, чтобы накуриться, он отрывал фильтр. В Ленинград ему привозили "Camel". Он так их потом и курил всю жизнь. <...>

Весь Старый город, та же улица Доминикону, был привлекательным. Все старые улицы мы обошли по многу раз. Но, конечно, с того времени многое изменилось. И дом, где он у нас жил, тоже сильно переделали и перекрасили. Сейчас даже нельзя попасть во двор. Это закрытые помещения одного из банков. Вы знаете, что интересно? Тогда дворами со стороны улицы Швянто Игнато можно было попасть на крышу одной из построек губернаторского дворца. Мы туда пошли поздним вечером. Бродскому нравились рискованные предприятия. <...>

Знаю, что Бродский бывал в университете несколько раз. Но не со мной, а с Венцловой. В прославленном кафе "Неринга" он тоже бывал с ним.

Может быть, тогда он почувствовал родство, которое объединяет двух поэтов, и это чувство сумел пронести через всю жизнь.

Мы похожи; мы, в сущности, Томас, одно: ты, копящий окно изнутри, я, смотрящий снаружи.

Друг для друга мы суть обоюдное дно амальгамовой лужи, неспособной блеснуть.

<...> Некоторые считают, что Бродский жил в Каунасе, но это не так. <...> Каунас, по словам Иосифа, его слегка разочаровал. Он надеялся увидеть западный город, а он оказался такой же, советский. В общем, некоторое тяготение к упаду у Бродского уже тогда было.

Фрагмент из интервью С. Филину для газеты "Литовский курьер" от 12 ноября 2009 г.

In Vilnius with Brodsky By Ramunas Katilyus. Ramunas Katilyus is a physicist and was a close friend of Joseph Brodsky. Here he includes some memories of time spent with his friend.

"...что, в общем, для Литвы симптоматично" фотокомментарий к "литовским" стихам Иосифа Бродского

1. Вступление

Вот скромная приморская страна.
Свой снег, аэропорт и телефоны,
свои евреи. Бурый особняк
диктатора. И статуя певца,
отечество сравнившего с подругой,,
в чем проявился пусть не тонкий вкус,
но знание географии: южане
здесь по субботам ездят к северянам
и, возвращаясь под хмельком пешком,
порой на Запад забредают...



Конец сезона. Столики вверх дном.
Ликуют белки, шишками насытятся.
Храпит в буфете русский агроном,
как свикшийся с распутицею витязь.
Фонтан журчит, и где-то за окном
милюются Юрате и Каститис



"Коньяк в графине - цвета янтаря..." (1967)

2. Леиклос

Родиться бы сто лет назад
и, сохнувшей поверх перины,
глазеть в окно и видеть сад,
кресты двуглавой Катарины;
стыдиться матери, икать
от наведенного лорнета,
тележку с рухлядью толкать
по желтым переулкам гетто...



IV

Мстя, как камень колодцу кольцом грязевым,
над балтийской волной
я жужжу, точно тот моноплан -
точно Дариус и Гиренас,
но не так уязвим.



XIV

Призрак бродит по Каунасу. Входит
в собор,
выбегает наружу. Плетется по
Лайсвис-аллее.
Входит в "Тюльпе", садится к столу.



3. Кафе "Неринга"

Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе,
провожаемо дребезгом блюдец,
ножей и вилок,
и пространство, прищурившись, подшофе,
долго смотрит ему в затылок.



XV

Призрак бродит бесцельно по Каунасу. Он
суть твое прибавление к воздуху мысли
обо мне,
суть пространство в квадрате, а не
энергичная проповедь лучших времен.



Литовский ноктюрн:
Томасу Венцлова (1974)

5. Amicum-philosophum de melancholia, mania et plica polonica*

... Часть женщины в помаде
в слух запускает длинные слова,
как пятерню в завшивленные пряди.
И ты в потемках одинок и наг
на простыне, как Зодиака знак.

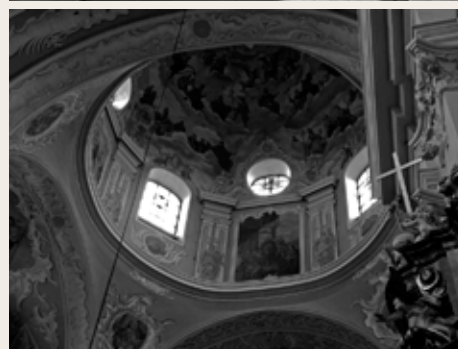
"Другу-философу о мании, меланхолии и
польском колтуне" (лат.). Название трактата
XVIII века, хранящегося в библиотеке Вильнюсского университета» (Прим. И. Б.).



7. Dominikanaj

... войдя в костел, пустой об эту пору,
сядь на скамью и, погодя,
в ушную раковину Бога,
закрытую для шума дня,
шелни всего четыре слога:
- Прости меня.

Литовский дивертисмент:
Томасу Венцлова (1971)



Post Scriptum



Рамунас Катиллюс, Иосиф Бродский, Томас Венцлова.
Май 1972. Фото Марии Этжинд (Р. Катиллюс называет ее "Три богатыря")

Михаил Лемхин

Бродский в Сан-Франциско: 10 декабря 1988 года

Из выступлений, на которых я присутствовал, наверное самое лучшее было в 1988 году в Сан-Франциско. <...> Я о нем рассказывал в статье "Так сложилась книга". Иосиф Александрович тогда очень редко выступал перед соотечественниками, и каждый раз когда намечался его приезд в наши края, я звонил и уговаривал его выступить с чтением по-русски. Он никогда не говорил - нет, но и не говорил - да. В конце концов, перед очередным приездом я его уломал - он пообещал, но очень расплывчато. Ни даты, ни времени, то есть я заранее не мог искать зал. Уже в Сан-Франциско за день до обещанного выступления он со мной отчаянно торговался: "Давайте, - предлагал я, - устроим в ЖСС". "Нет, я ничем не хочу быть им обязанным". "Хотите у меня дома?" "В квартире? Вы же предлагаете выступление, Миша". "Вход за деньги или бесплатно?" - спрашивал я. "Пусть платят, так будет серьезнее". В результате мы сошлись на одном зале, которого Иосиф не знал, но по моему описанию на него согласился. Это был зал на Сакраменто-стрит в здании, принадлежащем Генри Дейкину, бизнесмену и филантропу. Генри разрешал устраивать иногда разные странные посиделки в этом зале. Он финансировал в те годы всякие культурные мероприятия, как официальные (какой-нибудь обмен визитами с Советским Союзом), так и диссидентские (например, издание брошюры о советских политзаключенных Татьяне Осиповой и Иване Ковалеве).

Никаких объявлений мы не давали - на это не оставалось времени. Я обзвонил знакомых, они обзвонили своих

знакомых, и этого хватило. Зал набился абсолютно полный. Со своей стороны Бродский пригласил только двоих: Жанет Эсеридж, владелицу кафе "Тоска" (Жанет немного говорит по-русски) и Гришу Фрейдина. Или Грише позвонил я? Точно не помню.

Иосиф явился заранее, никого еще не было, кроме меня, моей жены, дочки и сына - мы готовили зал. Иосиф, конечно, немедленно сказал, что никого и не будет, мол, кому это нужно. "Иосиф, - говорю, - наши люди всегда так собираются, в последний момент". "Ваши люди?" - откликается он с вызовом. Положение спасла моя дочка, которой он никогда раньше не видел, подойдя к нему с букетом цветов и представившись: "Марина". Иосиф сразу заулыбался, а потом уж народу набилось, и он начал читать. Читал, курил, приговаривая: "Ну, давайте передохнем. Старинный русский народный способ: вопросы и ответы". Он отвечал на вопросы, а потом смущенно предлагал: "Ну что, еще пару стихотворений?" Все это продолжалось без нескольких минут четыре часа. "Честерфилд" кончился, аудитория снабжала его сигаретами, но от предложенного кем-то "Беломора" он отказался. Он, несомненно, был доволен; по-моему, он был счастлив. В тот вечер я сделал один его портрет, который я очень люблю и по поводу которого Марк Поповский прислал мне из Нью-Йорка письмо: "Вы обнажили то, что сам Иосиф скрывает, - его доброту".

После чтения народ еще клубился вокруг Иосифа с полчаса - подписывал книжки. А потом я подошел к нему с пачкой денег, уж не помню,

сколько там было. У дверей сидел наш знакомый Фима Юдин и, как велено, взимал входную плату. Наверное, получилось долларов шестьсот-семьсот. "Вот, - говорю, - деньги, Иосиф". А он поглядел на пачку и отвечает: "Отдайте своему миллионеру". Генри, надо сказать, ни слова не понимая по-русски, явился и скромно просидел весь вечер. Иосифу бы подойти и сказать человеку спасибо, тем более что человек-то очень симпатичный. Но ему, вероятно, казалось, что тогда он будет одолжаться, прогибаться будет перед богатеем. Я говорю Иосифу: "И не подумаю отдавать. За что вы хотите Генри обидеть?" "Ладно, - говорит Иосиф, - тогда пойдемте все вместе в ресторан". Короче, большой толпой отправились в китайский ресторан.

На следующее утро Иосиф позвонил мне - что было редкостью: всегда звонил я, а он мне звонил наверное раз пять в жизни, - был очень веселый и довольный и почти с восхищением сказал: "Я познакомился с чудовищем". Так он охарактеризовал одну экстравагантную даму из нашей здешней компании.

Фрагмент из рассказа Михаила Лемхина в интервью собирательнице материалов о Бродском Валентине Полухиной (апрель 2009 г.).

Brodsky in San Francisco: December 10, 1988 By Michael Lemkhin. In 1988, Brodsky was in San Francisco where he gave a reading and answered questions in a hall on Sacramento Street. (He didn't want to appear at the JCCSF, because he was afraid that might involve some unknown obligation). The author, a professional photographer, includes three of his photos of Joseph Brodsky on the right.

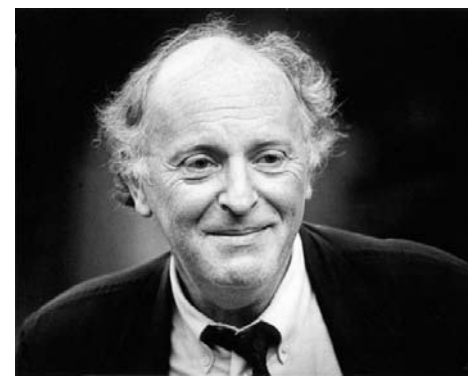


Фото М. Лемхина © Mikhail Lemkhin

Бенгт Янгфельдт

Заметки об Иосифе Бродском

Окончание. Начало на стр. 1

Передача книги *Fondamenta degli Incurabili* была осуществлена несколько театральным образом. Войдя в ноябре 1989 года в офис консорциума, Иосиф выпустил рукопись на пол, чтобы она подкатилась к заказчику, как серпантин. Страницы были, оказывается, склеены. Длина рукописи: 5,4 метра.

Способ передачи был драматичным, но метод складывать страницы эссе и больших поэм клеем или скотчем Бродский практиковал давно. В Ленинграде он пользовался иногда даже бумагой для счетных машин.

Книга о Венеция была частично написана в 1989 году в Стокгольме. Журналистка, посетившая в октябре Бродского в гостинице "Рейсен" увидела, к своему удивлению, несколько метров машинописных страниц, склеенных вместе и висящих на ванной двери. Летом того же года, в той же гостинице, Иосиф писал предисловие к поль-

1. Фото с Янгфельдтом снято Машей Воробьевой (Нью-Йорк, 1988)
2. Перед дачей, где написано стихотворение "Доклад для симпозиума". Август 1989 г. Фото Бенгта Янгфельдта
3. С М. Барышниковым на даче около Стокгольма, которую Бродский снимал летом 1992г. Фото Бенгта Янгфельдта.

скому изданию стихотворений Томаса Венцловы. Когда оно было готово и я должен был сделать для него копию, мне пришлось сначала разрезать машинопись ножницами.

Таким же образом создавалась Нобелевская лекция: первое, что я увидел, войдя в его комнату на Мортон-стрит 25 ноября 1987 года, были пять-шесть машинописных страниц, закрепленных скотчем на стене около двери, ведущей в садик. Потом его сосед, Володя Лунис, набрал лекцию на своем компьютере.

Бродский написал лекцию по-русски, но так как в его распоряжении было всего немногим больше месяца, он сразу отдал ее для перевода на английский. Он предпочитал, чтобы перевод был сделан в Америке, а не Шведской Академией, частично потому, что он хотел его контролировать, частично потому что хотел быть уверенным в том, что он будет готов вовремя - дело в том, что Бродский не знал, на каком языке он прочтет лекцию. Когда я был у него в Нью-Йорке, он только что закончил русский вариант, и мы обсуждали этот вопрос. Я высказал мысль, что выбор языка должен зависеть от того, как он воспринимает премию, в каком качестве он ее принимает - как русский поэт

или англоязычный эссеист. Он сказал, что склоняется к тому, что прочтет ее по-русски, но окончательно еще не решил. Это было 29 ноября.

Иосиф вообще был тут на решениях. Это было чертой его характера, оно было связано и с его сердечным заботливостью, усиливающим его нерешительность. Он неохотно строил планы на следующий день, не говоря о неделе или месяце. Приехав в Стокгольм 6 декабря, он еще не знал, на каком языке будет выступать. К тому же, он привез с собой несколько изменений и в русском и в английском текстах. Но еще и 8 декабря, в день выступления, он не решил на каком языке прочтет лекцию. Когда Бродский входил в зал Шведской академии у него в кармане были оба текста. Он вынул русский.

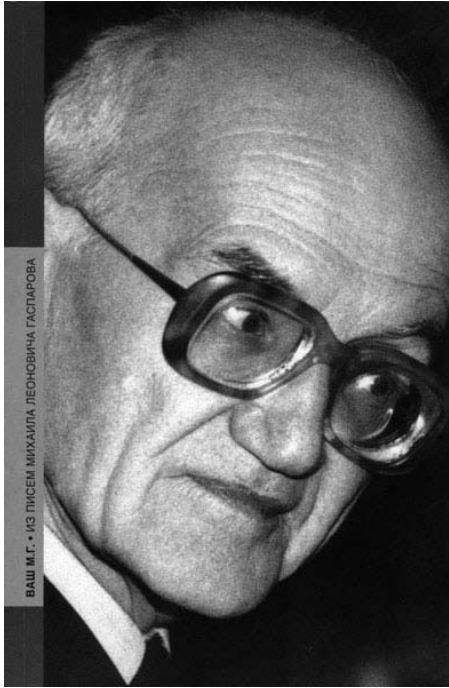
Заметки заимствованы из книги о Бродском, вышедшей по-шведски в апреле 2010 г.: *Språket är Gud. Anteckningar om Joseph Brodsky* (Язык есть бог. Заметки об Иосифе Бродском). В будущем году она выйдет по-русски.

Notes about Joseph Brodsky. By Bengt Yangfeldt. The author is a Swedish Slavicist and acquaintance of Joseph Brodsky who has translated Brodsky into Swedish. This excerpt is from his book in which he recalls stories from Brodsky's life and literary career.



"Интеллигентский разговор"

Бродский, русские поэты и русские филологи в записях М.Л.Гаспарова



Михаил Леонович Гаспаров (1935-2005), выдающийся русский филолог. Фотография с обложки книги "Ваш М.Г.: Из писем Михаила Леоновича Гаспарова".

В ноябре 1992 г. нам вместе с поэтом Алексеем Парщиковым повезло присутствовать в качестве свидетелей при одной беседе, которая развивалась за соседним столиком в студенческом кафе Стэнфордского университета, и по свежей памяти была детально законспектирована Михаилом Леоновичем Гаспаровым, в то время преподававшим в Стэнфордском университете, по его слову, "в почетном звании" Visiting Professor. Собеседниками Гаспарова в этом "триалоге" выступали Иосиф Бродский и профессор Стэнфордского университета Лазарь Флейшман. Беседа проходила с 10 до 11 утра, а уже по полудни М.Л. сделал для меня копию страничек из своей записной книжки "на память." Разговор, разумеется, шел о поэзии и, в значительной мере, о Борисе Пастернаке. Как видно из публикуемого ниже конспекта этого разговора, Бродский щедро делится своими наблюдениями и - одновременно - задает провокационные вопросы двум выдающимся специалистам: Флейшману - автору фундаментальных работ о Пастернаке; и Гаспарову - исключительно знающему русскую поэзию, который именно в Стэнфорде приступил к подготовке академических комментариев к стихотворениям Пастернака.

Бродский любил пикироваться с филологами, высказывать свои часто парадоксальные суждения, прежде всего, в том, что касалось квартета поэтов Пастернак-Мандельштам-Ахматова-Цветаева. Он не стремился к тому, чтобы выходить победителем в таких спорах, гораздо более важным для него было знать мнение специалистов. Так, он был очень доволен, что его эссе "Об одном стихотворении" получило значительный резонанс среди историков литературы. Гаспаров особо ценит этот анализ "Новогоднего" Цветаевой, о чем, в частности, сообщал в письме с конференции к ее столетию в Амхерсте: "Бродский разобрал стихи МЦ и Пастернака, о Магдалине гораздо хуже, чем мог бы. (Его разбор "Новогоднего" ведь был замечателен).

Бродский однажды обмолвился, процитировав Александра Блока: "Я не претендую на то, чтобы быть филологом. Филология - это труд адский. Зато у филологов я могу выпросить, что же там было на самом деле. Мне, прежде всего, интересно знать, как "жили поэты". Причиной участия Бродского в таких филологических беседах была безусловная для него необходимость определить свое место в "коллективной биографии эпохи". Этот термин родился в прениях на конференции к столетию О. Мандельштама в 1991 г. в Лондоне:

Гаспаров. <...> Мы не изучаем процесс творчества - до этого наука психология еще не дошла; мы изучаем процесс восприятия, собственного восприятия. Поскольку мы просто читатели, - мы, конечно, не обязаны этим заниматься, но, поскольку мы филологи, каждый из нас обязан дать по крайней мере самому себе отчет в том, почему он воспринимает этот текст именно так. <...>

Бродский. Но это носит тогда, в конечном счете, характер автобиографический, не правда ли?

Гаспаров. Пока каждый из нас занимается этим наедине с собой - да; а когда мы общаемся друг с другом - это уже становится коллективной биографией.

Бродский (очень довольный ответом). А!.. - Замечательно! (Смех.)

Так, именно с точки зрения "коллективной биографии эпохи" и должен быть прочитан "интеллигентский разговор" Бродского, Гаспарова и Флейшмана. С разрешения вдовы ученого А.М. Зотовой мы публикуем здесь конспект по копии из записной книжки Михаила Леоновича Гаспарова:

С ИБ и ЛФ

- Как вы себе представляете Пушкина, если бы он убил Дантеса, а не Дантес его? - Представляю по Вл. Соловьеву, ничего лучше не могу придумать. - Ведь Дантес вряд ли хотел убивать. Почему он попал ему в живот? Скверная мысль: может быть, целился в пах? - Исключено: ниже пояса не целились, дуэльный этикет не позволял. - А если бы попал? - Очень повредил бы своей репутации. - Совсем трудно стало представлять себе, что такое честь. Сдержанность: оскорбление от низшего не ощущается оскорблением. В коммунальной квартире так прожить трудно. У Ахматовой было очень дворянское поведение. - Это она писала: для кого дуэль предрассудок, тот не должен заниматься Пушкиным? - Да. - О себе она думала, что понимает дуэль, хотя в ее время дуэли были совсем не те. - Как Евг. Иванов писал Блоку по поводу секундантства, помните? "Помилуй, что ты затеял: что, если, избави Боже, не Боря тебя убьет, а ты Бору, - как ты тогда ему в глаза смотреть будешь? и потом, мне неясны некоторые технические подробности, например: куда девать труп..." Вот это по Соловьеву.

- Отчего Пастернак обратился к Христу? - А отчего Ахматова стала ощущать себя дворянкой? Когда

отступаешь, то уже не разбираешь, что принимать, а что нет. - Ахматова смолodu верующая. - Пастернак, вероятно, тоже: бытовая религиозность, елки из "Живаго". - Нет, у Пастернака сложнее: была память о еврействе. - А я думаю, просто оттого, что стихи перестали получаться. - А почему перестали? - Он не мог отделаться от двух противоположных желаний: хотел жить и хотел, чтобы мир имел смысл. Второе даже противоположной. - Не смог отгородиться от среды: дача была фикцией, все равно варился в общем писательском соку. - Ему навязывали репутацию лучшего советского поэта, а он долго не решался ее отбросить, талько в 1937-м.

- Когда он родился? Да, в 1890-м, удобно считать: 50 лет перед войной, 55 после войны ("это он на собственный возраст примеривает", сказал потом Ф.), война ослабила гайки режима, мир опять затянул их. О том, как он отзывался на антисемитские гонения и дело врачей, нет ни единого свидетельства, но в самый разгар их он писал "В больнице": "Какое счастье умирать".

- Не люблю позднего Пастернака (оказалось: никто из троих не любит). Исключения есть: про птичку на суку, "Август", даже "Не спи, не спи, художник". Но вы слышали, как он их читает? Бессмысленно: я ручаюсь, что он не понимал написанного. - Ну, не понимать самого себя - это единственное неотъемлемое право поэта. - И сравните, как он живо читал фальстафовскую сцену из "Генриха IV" и сам смеялся. - Он читал ее мхатовским актерам и очень старался читать по-актерски. - И потом, любоваться собою ему, вероятно, было совестно, а Шекспиром - нет.

- Я стал понимать Пастернака - лет в 16 - только на "Спекторском". - Я тоже, хотя к тому времени и не понимая, знал наизусть половину "Сестры моей жизни". - "Значение суета, и слово только шум". А вы? - Я, пожалуй, на "Темах и варьяциях". - Четыре поэта, БП<астернак>, ОМ<андельштам>, АА<хматова> и МЦ<ветаева> - как носители четырех темпераментов: сангв<иник>, мел<анхолик>, флегм<атик>, хол<ерик>. Каждый может выбрать по вкусу. И равнодействующая двух непременно пройдет через третьего. - А ваше предпочтение? Цветаева и Мандельштам. - Несмотря на Ахматову? - Цветаева могла бы написать всю Ахматову, а Ахматова Цветаеву не могла бы. Ахматова говорила: "Кто я рядом с Мариной? Тёлка!". - Ну, это была провокация. - Да, конечно, опять дворянская сдержанность и так далее, и так далее, и так далее.

- Вы слышали его ранние прелюды? Они построены на музыкальных клише. - Странно: поэтика и клише - привилегия Мандельштама. - Нет: цитата и клише - вещи разные. - Правда, в музыке он пошел не дальше Скрябина. Харджиев его за это осуждает. Но ведь Скрябин, Шенберг, Стравинский - это как раз и есть три пути музыкального модерна. - Он в стихах пишет словами, как нотами, - по музыкальным

правилам; а мыслью - по философским правилам. В ранних черновиках так и видишь переходы от конспектов к стихам. - Напишите об этом!

Публикация Андрея Устинова

"A Chat among Intellectuals" Brodsky, Russian Poets and Russian philologists in the letters and writings of M. L. Gasparov. In 1992, the author, Andrei Ustinov, a graduate student in Russian, sat at the next table at a café at Stanford and witnessed a conversation/dialogue between three leading Russian intellectuals: Joseph Brodsky, Lazar Fleishman and Michael Gasparov. Michael Gasparov (1935-2005) was a renowned Russian philologist and translator, famous for his studies in classical philology and history of versification, and a member of the informal Tartu-Moscow Semiotic School. Lazar Fleishman is a Professor of Slavic Languages and Literatures at Stanford University. The same day Andrei Ustinov asked Gasparov if he could make a copy of his notes from this dialogue. Brodsky was always interested in learning about the perception of poetry by intellectuals to capture "the collective biography of the epoch".

НА СМЕРТЬ ПОЭТА

Понятно, что после Бродского русская поэзия изменилась навсегда. Нельзя уже притвориться, что его не было. И невозможно писать так, как писали до него. Поэтический язык Бродского оказался настолько мощным, что большинство современных поэтов - вольно или невольно - попали под его влияние.



Поэт Борис Рыжий (1974 - 2001)

После 28 января поэт Борис Рыжий - по его словам - проплакал всю зиму 1996 года и, плача, посвящал свои стихи памяти Бродского. Всю свою короткую жизнь он как поэт стремился никоим образом НЕ подражать Бродскому, и это ему превосходно удалось. Неслучайно Александр Кушнер назвал поэтический слух Бориса Рыжего "абсолютным".

Дивным светом иных светил озаренный, гляжу во мрак. Боже, как я тебя любил, заучил твои строки как.

...У барыги зеленый том на последние покупал - бедный мальчик, в углу своем сам себе наизусть читал.

Так прощай навсегда, старик. Говорю: навсегда прощай. Белый ангел к тебе приник - ибо он существует, рай.

Мне давно не семнадцать лет, поослаб мой ребячий пыл. Так шепчу через сотни лет: "Знаешь, как я тебя любил".

...А представить тебя уволь в том краю облаков, стекла - где сердечная гаснет боль и растут на спине крыла.

1996, январь
Борис Рыжий

Стихотворение публикуется с разрешения семьи поэта.

Андрей Устинов

Бродский в Сан-Франциско: Кафе „Триест“



Кафе „Триест“: Сан-Франциско

L.G.

На тот угол Грант и Вайехо
я вернулся, как эхо,
к тем губам, полюбившим всуе
вместо слов поцелуи.

Здесь все так же: та же погода,
те же столы. Год от года
вещи, когда тебя нет в пространстве,
мечтают о постоянстве.

Как в аквариуме, в этих стеклах,
Запотевших от пара, гложет
речь любая, и в этом месте
от людей остаются лишь жесты.

Возвращаясь к истоку, реки
превращаются в слезы, векам
не сдержать их, как реальности нити,
ставши памятью, не схватить всей
ящерицы, а лишь ее хвостик,
той, что путника вызвала в гости,
оставив среди руин
со сфинксом один на один.

Твоя рыжая грива! Вот в чем загадка!
Хрупкость лодыжки, юбки складка!
Ухом божественным слышать могла
всегда там, где "Лима" - "мила".

На каком необъятном море
трепещется в триколоре
флаг на мачте кафе Триест
твоих было - будет - есть.

И по каким же волнам
бежишь ты к другим берегам,
бирюльки сжимая в руках,
чтоб швырнуть их в дикарский пах?

Но коли грехи прощаются,
то есть душа примиряется
с телом, то имеет право
и эта кофейня на славу

сладкого фойе рая,
где в забвеньи, резвясь и играя,
меня примут святые и те, что не очень,
и куда я попал раньше прочих.

Перевод Андрея Устинова

Впервые Бродский попал в Сан-Франциско через полгода после отъезда из СССР. 4 июня 1972 г. он вылетел в Вэну, а 10 декабря прилетел в наш город и остановился в гостинице "Марк Хопкинс" на Ноб-Хилл. Взбираться на сан-францисские холмы Бродскому довелось раньше, чем на римские: в итальянской столице он оказался только после нового 1973 года, но, в отличие от стихов, посвященных Риму, в его поэтическом наследии нет ни одного, написанного о холмах Сан-Франциско. По иронии стихотворение с говорящим названием "Вид с холма" (*Вот вам замерший город из каменного угла. / Геометрия оплакивает свои недра*) описывает "плоский" город Вашингтон.

Однако именно Сан-Франциско служил ему напоминанием о его любимой Италии. "Италия для меня - прежде всего то, откуда все пошло, - рассказывал Бродский Петру Вайлю. - Колыбель культуры. В Италии произошло все, а потом полезло че-

рез Альпы... там, на севере - вариации на итальянскую тему, и не всегда удачные". Однажды во время прогулки на Рашн-Хилл Бродский обронил, что это несостоявшийся холм Яникулум в Риме, стихотворение о котором "Пчелы не улетели, всадник не ускорил. В кофейне / „Яникулум“ новое кодро болтает на прежней фене" заканчивается строчками:

Жизнь без нас, дорогая, мыслима -
для чего и
существуют пейзажи, бар, холмы,
кучевое

облако в чистом небе над полем
того сраженья,
где статуи стынут, праздную
победу телосложенья.

На заданный вопрос, что если это действительно так, то почему же у него нет стихотворения о сан-францисском рельефе, Бродский отшутился, что на вершине Russian Hill, в отличие от Gianicolo нет кофейни с названием "Русская горка", а если "подходить рельефно", то вот, например, кафе "Триест" находится если не на холме, то "на холмике", и об этом он как раз написал. Эта кофейня по адресу 601 Vallejo St. - экспозиция стихотворения Бродского "Кафе "Триест": Сан-Франциско" (1980) из сборника "To Urania" ("Урагии").

Главным предметом гордости "Триеста" служит тот факт, что здесь был сварен первый на Западном побережье эспрессо. Бродский обычно пил двойной эспрессо. Тогда в сан-францисских кафе можно было курить, и, по его словам, чашки как раз хватало, чтобы выкурить две сигареты "Кент" с двойным фильтром (впрочем, один фильтр он непременно выкусывал). В этом кафе он встретился с Чеславом Милошем, который состоял профессором в Беркли, а в первые американские годы Бродского (по его признанию), был его ментором, в частности, в вопросе о том, как писать в эмиграции. Одна из рекомендаций Милоша была довольно категоричной: "Бродский, Вы должны писать не на родном языке, а на языке страны обитания. Если у Вас не получится, то из Вас не выйдет поэта". Видимо, этому совету мы обязаны тем, что поэтический портрет Сан-Франциско написан Бродским как раз по-английски, и до недавнего времени не поддавался переводу на русский.

"Кафе "Триест": Сан-Франциско" - среди прочего, похвала кофейной культуре, древней традиции Старого Света, родившейся в коричневых кафе Амстердама и перекинувшейся в Италию. В топографии многочисленных кофеен Сан-Франциско "Триест" расположен на дальнем углу авеню Грант и заслонен шумом чрезвычайно популярных "Ступеней Рима", обладающих сомнительным уличным преимуществом, а потому чрезвычайно привлекательных для туристов. Отличие "Триеста" в том, что это кофейня для завсегдатаев, и Бродский непременно бывал здесь, когда приезжал в Сан-Франциско.

Последний раз он возвращался сюда в ноябре 1992 года. После нескольких дней лекций и поэтических чтений в Стэнфорде он перебрался в бывший тогда гостиничкой "Клифф Хауз", буквально - "Домик на скале", до переделки именованный "Чайки-

"В Сан-Франциско мне всегда нравится то же, что и в Венеции - водичка". И.Б.

ным гнездом" по аналогии с "Ласточкиным" в Крыму. Погода была, как и водится в демисезонье, переменной: утром шел дождь, который сменился туманом. По замечанию Бродского, лучшая погода для кофе и разговоров, оказалось кафе "Триест".

На вечере памяти Бродского в Орегонском университете в Юджине, устроенном в его первый посмертный день рождения 24 мая 1997 года близкими друзьями поэта Джеймсом Райсом, Львом Лосевым и Владимиром Уфляндом, я слышал, как "Кафе "Триест": Сан-Франциско" исполнялось на мотив песни "My Favorite Things" ("Мои любимые вещи") из мюзикла "Звуки музыки" (1959) Р. Роджерса и О. Хаммерштейна. Это было особенно уместно, поскольку днем Роман Тименчик в своем докладе уже продекламировал стихотворение "1867" на мотив аргентинского танго "El Choclo". Да и сам Бродский любил джаз, а его переводы текстов для мелодий джазовой классики хорошо известны. В исполнении, однако, чувствовался "кикс" - стихотворение не ложилось на мелодию.

Необходимая вариация нашлась случайно - запись Джона Колтрейна, где он исполняет ту же мелодию Роджерса на сопрано-саксофоне в сопровождении своего квартета. По мнению джазовых музыковедов, интерпретация Колтрейна значительно отличается от оригинала. Он сделал мелодию более отрывистой, усилив темп, конвертировав оригинальную версию из 3/4 в 6/8. И вот тогда текст "Кафе "Триест": Сан-Франциско" с лёгкостью лёг на интерпретацию Колтрейна.

Стихотворение Бродского - сплав, для Сан-Франциско идеальный. Это поэтическая ведута - картинка с детальным изображением городского пейзажа, - где узнаются признаки места, поставленные в соответствующий контекст замысла автора. Как замечал Петр Вайль о том же стихотворении, посвященном Яникулуму: "То, что кажется некоей лирической невнятицей, оборачивается точными экскурсионными деталями <...> и „всадник“ - конный памятник Гарибальди в соседнем парке, и "пчелы" - три пчелы в гербе Барберини на барельефе ворот Сан-Панкрацио, напротив кафе". Так же и здесь: точный адрес - угол Грант

и Вайехо; вывеска кафе с итальянским триколором, напоминающая мачту корабля; старые изношенные столы.

Неслучайно, что, как водится в джазовой традиции, у "Кафе "Триест": Сан-Франциско" появилась вариация для нового века, сделанная сан-францисским поэтом и переводчиком Сергеем Шкарупом. И здесь музыкальное эхо, заданное в самом начале стихотворения:

На тот угол Грант и Вайехо
я вернулся, как эхо,
отдается продолжением той джазово-кофейно-поэтической традиции, которая была создана Иосифом Бродским специально для Сан-Франциско.



Если в пятницу вечером ты попадешь в "Триест", там, наверно, не будет свободных мест ни за столами среди богемы, ни на увешанных фото стенах, так, что не было и просвета для некоего поэта.

Вынув бумажку с портретом Гранта, вызовешь подозрение официанта. Не обижайся. Сиди в уголке, дыши смесью тумана и запаха ананиса. Пусть сердце стучит, как коробка спичек

(так сказал Вайехо) и много тысяч еще можно жечь, одну за одной. Друг, маленький выпей двойной!

Сергей Шкаруп

Brodsky in San Francisco: Café Trieste. By Andrei Ustinov. Brodsky first visited San Francisco in 1972. He enjoyed San Francisco, especially as the hills reminded him of his favorite Italy, the cradle of all culture. He especially enjoyed a double espresso at the Café Trieste, which was voluminous enough to allow him to finish smoking two cigarettes. Café Trieste was an embodiment of the coffee culture which had its roots in Amsterdam and from there was brought to Italy. Andrei Ustinov has translated his poem about Café Trieste into Russian. Brodsky was such a brilliant poet that he was able to write poems in English as well as Russian.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВОДОЛЕЙ" (МОСКВА) И КНИЖНЫЙ ДОМ "АКВИЛОН" ПРЕДЛАГАЮТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ:

"Vademecum" - это сборник публикаций по литературной и интеллектуальной истории России в честь авторитетнейшего специалиста по русской культуре профессора Стэнфордского университета Лазаря Флейшмана.

"Vademecum" - это издание, включающее 696 страниц и 187 иллюстраций и не имеющее до сих пор прецедентов в культурологии. Большая часть материалов, представленных здесь публикуется и вводится в научный оборот ВПЕРВЫЕ.

* * *

Приобрести книгу можно ТОЛЬКО в Книжном Доме "Aquilon Books", которому вверены эксклюзивные права на дистрибуцию книги. Звоните и пишите!

AQUILON BOOKS tel.: (415) 290-3119, abooks@gmail.com

